

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 8

1990



Александр КУШНЕР

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

Ф Л Е Й Т И С Т

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 8

Издается с января 1925 года

Александр КУШНЕР

ФЛЕЙТИСТ

СТИХИ

Москва. Издательство «ПРАВДА».
1990

Александр КУШНЕР

Александр Семенович Кушнер родился в 1936 году в Ленинграде. В 1959 году окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. Герцена и десять лет преподавал в школе русский язык и литературу. Начал печататься с 1957 года.

Автор книг «Первое впечатление» (1962), «Ночной дозор», «Приметы», «Письмо», «Прямая речь», «Голос», «Таврический сад», «Дневные сны», «Живая изгородь», а также двух книг избранных стихов — «Канва» и «Стихотворения».

Кроме того, А. Кушнер — автор ряда статей о русской классической поэзии и поэзии XX века, а также нескольких книг стихов для детей.

Все поэтические сборники Кушнера выходили в Ленинграде.

В сборник «Флейтист» вошли стихи из разных книг.

* * *

Вижу, вижу спозаранку
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.

И каналов без уздечки
Вижу утреннюю прыть,
Их названья на дощечке,
И смертельной Черной речки
Ускользящую нить.

Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки,
Жирный отсвет нефтяной.

Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.

1967

ДВА ГОЛОСА

Озирая потемки,
расправляя рукой
с узелками тесемки

на подушке сырой,
рядом с лампочкой синей
не засну в полутьме
на дорожной перине,
на казенном клейме.

— Ты, дорожные знаки
подносящий к плечу,
я сегодня во мраке,
как твой ангел, лечу.
К моему изголовью
подступают кусты.
Помоги мне! С любовью
не справлюсь, как ты.

— Не проси облегченья
от любви, не проси.
Согласись на мученье
и губу прикуси.
Бодрствуй с полночью вместе,
не мечтай разлюбить.
Я тебе на разъезде
посвечу, так и быть.

— Ты, фонарь подносящий,
как огонь к сургучу,
я над речкой и чащей,
как твой ангел, лечу.
Синий свет худосочный,
отраженный в окне,
вроде жилки височной,
не погасшей во мне.

— Не проси облегченья
от любви, его нет.
Поздней ночью — свечение,
днем — сиянье и свет.
Что весной развлечение,
тяжкий труд к декабрю.
Не проси облегченья
от любви, говорю.

1965

* * *

Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь — там услышат твой голос.

Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.

А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дожидаться письма.
Даром волны шумят, набегают.

Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?

1967

* * *

Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.

Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.

1965

БУКВЫ

В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец,
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.

Зато грузинский алфавит
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман —
Илья, Паоло, Тициан
Сбирают круглые осколки.

А в русских буквах «же» и «ша»
Живет размашисто душа,
Метет метель, шумя и пенясь.
В кафтане бойкий ямщикок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.

А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши,
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! тише!

Летит еврейское письмо.
Куда? — Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй... Ну что ты? Что ты?

1966

* * *

Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.

Боже мой! Еще живу!
Все могу еще потрогать
И каемку, и канву,
И на стол поставить локоть!

Угол скатерти в горсти.
Даже если это слабость,
О бессмыслица, блести!
Не кончайся, скатерть, радость!

1965

* * *

Эти вечные счета, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом — расходы.

То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный — зато и презренный металл.
Или рошу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?

Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бежит, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.

Под высокими окнами, бурей гоним,
Мчится клен, и высоко взлетают над ним
Медных листьев тройчатки.
К этим сотням и тысячам круглым твоим
Приплюсуем десятки.

Снова дикая кошка бежит по пятам,
Приближается время платить по счетам,
Все страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам —
И не будет пощады.

Все равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому то свежа!

И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!

1970

* * *

Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной,
И марка странная, пустая,
Размытый образ захолюстья:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы, — так, какой-то кустик.

И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенье безотчетном.

«Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном,
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем, но с тобой-то,
Молчи, не вздрагивай, мы рядом.

Не спи же, взглядывайся зорче,
Нас различай поодиночке». —
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.
«Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна,
И так в саду листва намокла,
Что шага сделать невозможно».

1969

* * *

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем кланяться и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливицы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время — это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время — кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас — его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.

1976

* * *

Сквозняки по утрам в занавесках и шторах
Занимаются лепкою бюстов и торсов.

Как мне нравятся хлопанье это и шорох,
Громоздящийся мир уранид и колоссов.

В полотняном плену то плечо, то колено
Проступают, и кажется: дыбятся в схватке,
И пытаются в комнату выйти из плена,
И не в силах прорвать эти пленки и складки.

Мир гигантов, несчастных в своем ослепленье,
Обреченных все утро вспухать пузырями,
Опадать и, опять становясь на колени,
Проступать, прилипая то к ручке, то к раме.

О, пергамский алтарь на воздушной подкладке!
И не надо за мрамором в каменоломни
Лезть; все утро друг друга кладут на лопатки,
Подминают, и мнут, и внушают: запомни.

И все утро, покуда ты нежишься, сонный,
В милосердной ночи залечив свои раны,
Там, за шторой, круглясь и толпясь,
как колонны,
Напрягаются, спорят и гибнут титаны.

1976

* * *

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

Не надо призраков, теней:
Темна и без того.
Ах, проза в ней еще странней,
Таинственной всего.

Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъязн,
Как в сильный микроскоп.

Биолог скажет, винт кружа,
Что взгляда не отвести.
— Не знаю, есть ли в нас душа,
Но в клетке, — скажет, — есть.

И он тем более смущен,
Что в тайну посвящен.
Ну, значит, можно жить еще.
Таинственна еще.

Придешь домой, рука в мелу,
Как будто подпирал
И эту ночь, и эту мглу,
И каменный портал.

Нас учат мрамор и гранит
Не поминать обид,
Но помнить, как листва летит
К ногам кариатид.

Как мир качается — держись!
Уж не листву ль со щек
Смахнуть решили, сделав жизнь
Таинственной еще?

1976

КУСТ

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.

Так бел и мокр, так эти грозди светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.

Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

1975

* * *

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Мы разве в проигрыше? Нет.
Тогда все тайна, все секрет.
А жизнь совсем невероятна!
Огонь, несущийся во тьму,
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.

1974

* * *

Быть классиком — значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О Гоголь, во сне ль это все, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.

Он кутался в шарф, он любил мастерить
Жилеты, камзолы.
Не то что раздеться — куса проглотить
Не мог при свидетелях, — скульптором голый
Поставлен. Приятно ли классиком быть?

Быть классиком — в классе со шкафа смотреть
На школьников; им и запомнится Гоголь —
Не странник, не праведник, даже не щеголь,
Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть.

Как нос Ковалева. Последний урок:
Не надо выдумывать, жизнь фантастична!
О юноши, пыль на лице, как чулок!
Быть классиком страшно, почти неприлично.
Не слышат: им хочется под потолок.

1976

СЛОЖИВ КРЫЛЬЯ

Крылья бабочка сложит,
И с древесной корой совпадет ее цвет.
Кто найти ее сможет?
Бабочки нет.

Ах, ах, ах, горе нам, горе!
Совпадут всеми точками крылья: ни щелки, ни шва.
Словно в греческом хоре
Строфа и антистрофа.

Как богаты мы были, да все потеряли!
Захотели б вернуть этот блеск — и уже не могли б.
Где дворец твой? Слепец, ты идешь, спотыкаясь
в печали.

Царь Эдип.

Радость крылья сложила
И глядит оборотной, тоскливой своей стороной.
Чем душа дорожила,
Стало мукой сплошной.

И меняется почерк,
И, склонясь над строкой,
Ты не бабочку ловишь, а жалкий, засохший листочек,
Показавшийся бабочкою под рукой.

И смеркается время.
Где разводы его, бархатистая ткань и канва?
Превращается в темень
Жизнь, узор дорогой различаешь в тумане едва.

Сколько бабочек пестрых всплывало у глаз
и прельщало:
И тропический зной, и в лиловых подтеках Париж!
И душа обмирала —
Да мне голос шепнул: «Не туда ты глядишь!»

Ах, ах, ах, зорче смотрите,
Озираясь вокруг и опять погружаясь в себя.
Может быть, и любовь где-то здесь, только
в сложенном виде,
Примостилась, крыло на крыле, молчаливо любя?

Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершенное втайне, оно совершенно темно.

Не оставит и щелку,
Чтоб подглядывал кто-нибудь кто-нибудь, как совершенно оно.

Может быть, в том, что бабочка знойные крылья
сложила,
Есть и наша вина, слишком близко мы к ней подошли.
Отойдем — и вспорхнет, и очнется, принцесса
Брамбила

В разноцветной пыли!

1975

* * *

Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу.

Сентябрь выметает широкой метлой
Хитиновый мусор, наряд кружевной,
Как если б директор балетных теплиц
Очнулся — и сдунул своих танцовщиц.
Сентябрь выметает метлой со двора
За поле, за речку и дальше, во тьму,
Манжеты, застёжки, плащи, веера,
Надежды на счастье, батист, бахрому.

Прощай, моя радость! До кладбища ос,
До свалки жуков, до погоста слепней,
До царства Плутона, до высохших слез,
До блеклых, в цветах, элизийских полей!

1975

* * *

Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампир от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.
Ну что же, что в ложноклассическом стиле
Есть нечто смешное, что в тоге, в тумане
Сгустившемся, глядя на автомобили,
Стоит в простыне полководец, как в бане?
А мы принимаем условность как данность.
Во-первых, привычка. И нам объяснили
В младенчестве эту веселую странность,
Когда нас за ручку сюда приводили.
И эти могучие медные складки,
Прилипшие к телу, простите, к мундиру,
В таком безупречном ложатся порядке,
Что в детстве внушают доверие к миру,
Стремление к славе. С каких бы мы точек
Ни стали смотреть — все равно загляденье.
Особенно если кружится листочек
И осень, как знамя, стоит в отдаленье.

1976

* * *

Небо ночное распахнуто настежь — и нам
Весь механизм его виден: шпыньки и пружинки,
Гвозди, колки... Музыкальная трудится там
Фраза, глотая помехи, съедая запинки.

Ночью в деревне, шагнув от раскрытых дверей,
Вдруг ощущаешь себя в золотом лабиринте.
Кажется, только что вышел оттуда Тезей,
Чуткую руку на нити держа, как на квинте.

Что это, друг мой, откуда такая любовь,
Несовершенство свое сознающая явно,
Вся — вне расчета вернуться когда-нибудь вновь
В эти края, а в небесную тьму — и подавно.

Кто этих стад, этой музыки тучной пастух?
Небо ночное скрипучей заведено ручкой.
Стынешь и чувствуешь, как превращается в слух
Зреньё, а слух затмевается серенькой тучкой.

Или слезами. Не спрашивай только, о чем
Плачут: любовь ли, обида ли жжется земная —
Просто стоят, подпирая пространство плечом,
Музыку с глаз, словно блещущий рай, вытирая.

1978

* * *

Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Проснулся с гоголевской фразой этой странной.
Там небо майское умеет розоветь
Легко и молодо над радугой фонтанной.

Нет лучшей участи... похоже на сирень
Оно, весеннее, своим нездешним цветом.
Нет лучшей участи, — твержу... Когда б не тень,
Не тень смертельная... Постой, я не об этом.

Там солнце смуглое, там знойный прах и тлен.
Под синеоками, как пламя, небесами
Там воин мраморный не в силах встать с колен.
Лежат надгробия, как тени под глазами.

Нет лучшей участи, чем в Риме... Человек
Верстою целою там, в Риме, ближе к Богу.
Нет лучшей участи, — твержу... Нет, лучше снег,
Нет, лучше белый снег, летящий на дорогу.

Нет, лучше тучами закрытое на треть,
Снежком слепящее, туманы и метели.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Мы не умрем с тобой: мы лучшей не хотели.

1979

* * *

В тридцатиградусный мороз представить света
Конец особенно легко.
Трамвай насквозь промерз. Ледовая карета.
Сухое, пенное, слепое молоко.

И в наших комнатах согреться мы не в силе.
Кроваво-красную не взбить в прожилке ртуть.
Весь день в России
За край и колется, и страшно заглянуть.

Так вот он, оползень! Они смешны с призывом
В мороз открытыми не оставлять дверей.
Сыпучий оползень с серебряным отливом.
Как в мире холодно, а будет холодней.

Так быстро пройден путь, казавшийся огромным!
Мы круг проделали — и не нужны века.
Мне все мерещится спина в дыму бездомном
Того нелепого, смешного седока.

Он ловит петельку, мешать ему не надо.
Не окликай его в тумане и дыму.
Я мифологию Шумера и Аккада
Дней пять вожу с собой, не знаю, почему.

Всех этих демонов кто вдохновил на буйство?
То в плач пускаются, то в пляс.
Бог просит помощи, его приводят в чувство.
Табличка с текстом здесь обломана как раз.

Табличке глиняной нам не найти замену.
Жаль царств развеечных, жаль бога-пастуха.
Как в мире холодно! Метель взбивает пену.
Не возвратит никто погибшего стиха.

1978

* * *

На выбор смерть ему предложена была.
Он Цезаря благодарил за милость.
Могла кинжалом быть, петлею быть могла,
Пока он выбирал, топталась и томилась,
Ходила вслед за ним, бубнила невпопад:
Вскрой вены, утопись, с высокой кинься кручи.

Он шкафчик отворил: быть может, выпить яд?
Не худший способ, но, возможно, и не лучший.

У греков — жизнь любить, у римлян — умирать,
У римлян — умирать с достоинством учиться,
У греков — мир ценить, у римлян — воевать,
У греков — звук тянуть на флейте, на цевнице,
У греков — жизнь любить, у греков — торс лепить,
Объемно-теневой, как туча в небе зимнем,
Он отдал плащ рабу и свет велел гасить.
У греков — воск топить и умирать — у римлян.

1980

СОН

В палатке я лежал военной,
До слуха долетал троянской битвы шум,
Но моря милый гул и шорох белопенный
Весь день внушали мне: напрасно ты угрюм.

Поблизости росли лиловые цветочки,
Которым я не знал названия; меж камней
То ящериц узорные цепочки
Сверкали, то жучок мерцал, как скарабей.

И мать являлась мне, как облачко из моря,
Садилась близ меня, стараясь притушить
Прохладною рукой тоску во мне и горе.
Жемчужная на ней дымилась нить.

Напрасен звон мечей: я больше не воюю.
Меня не убедить ни другу, ни льстецу:
Я в сторону смотрю другую,
И пасмурная тень гуляет по лицу.

Триеры грубый киль в песок прибрежный вдавлен —
Я б с радостью отплыл на этом корабле!
Еще подумал я, что счастлив, что оставлен,
Что жить так больно на земле.

Не помню, как заснул и сколько спал — мгновенье
Иль век? — когда сорвал с постели телефон,

А в трубке треск, и скрип, и шорох, и шипенье,
И чей-то крик: «Патрокл сражен!»

Когда сражен? Зачем? Нет жизни без Патрокла!
Прости, сейчас проснусь. Еще раз повтори.
И накренился мир, и вдруг щека намокла,
И что-то рухнуло внутри.

1980

ФЛЕЙТИСТ

Откуда родом бронзовый флейтист?
Мне флейты родниковый снится голос.
Не с Крита ли, который так дуплист
И вытянут? Эвбея, Скирос, Родос...

Он голову чуть набок наклонил.
Он видит, что и звезды звуку рады.
Он думает: кто в море накрошил,
Как в миску с супом, черствые Спорады?

Других вопросов он не задает.
Кто флейту изобрел, ему известно.
Упала к нам с озвученных высот —
Теперь на ней играют повсеместно.

Кинь что-нибудь — мы подберем с земли
И к надобностям смертным приспособим.
Он ерзает, и руки затекли,
И холодно, и смотрит исподлобья.

Но, выщербленный, он не видит нас
За скважистыми, как скала, веками.
А палец в круглой дырочке увяз,
И жизнь согрета теплыми губами.

1981

* * *

И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,

И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрывает на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок,
Под утюгом так высохла, на солнце?
И если пальцев белый табунок
На простыне доверчиво пасется,
И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с окриком и лаем,
И если спишь, чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.

1981

* * *

На узбекском базаре такая является мысль:
Не придется ли в будущей жизни родиться узбеком?
О, еще раз на сладкие эти ряды оглянись,
Улыбнись старику с воспаленным, слезящимся веком.

Потому что не видел голландцев, норвежцев, датчан,
И недаром тебе подарили вчера тюбетейку.
Говори, но негромко: под камнем лежит Тамерлан,
Он удавку пришлет, и похожа удавка на змейку.

Голубой, бирюзовый, зеленый, как чай, изразец.
Про дорический ордер забудь, барельеф и скульптуру.
Скоро, скоро возьмут собирать тебя хлопок-сырец,
Запускать по три пальца в густую его шевелюру.

Из коробочки жесткой сухое торчит волокно,
Словно в белый бутон упакована теплая вата.
Желтоглазого мальчика встретил я возле кино,
Он на фильм итальянский хотел проскользнуть воровато.

Бледноватое что-то сквозило в его смуглоте.
На картину детей до шестнадцати лет не пускали.

Нас лепили из глины. Но разная глина везде.
В этой — стойкости больше, а в той — белизны и печали.

1981

* * *

Как мы в уме своем уверены,
Что вслед за ласточкой с балкона
Не устремимся, злонамеренны
Безвольно, страстно, иступленно,
Нарочно, нехотя, рассеянно,
Полуосознанно, случайно...
Кем нам уверенность навеяна
В себе, извечна, изначальна?

Что отделяет от безумия
Ум, кроме поручней непрочных?
Без них не выдержит и мумия
Соседство ласточек проточных:
За тенью с яркой спинкой белою
Шагнул бы, недоумевая,
С безумной мыслью — что я делаю? —
Последний, сладкий страх глотая.

1984

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Ватикана создатель всех лучше сказал: «Пустяки,
Если жизнь нам так нравится, смерть нам понравится
тоже,

Как изделие того же ваятеля»... Ветер с реки
Залетает, и воздух покрылся гусиною кожей,
Растрепались кусты... Я представил, что вас провели
В мастерскую, где дивную мы увидели скульптуру.
Но не хуже и та, что стоит под брезентом вдали
И еще не готова... Апрельского утра фактуру,
Блеск его и зернистость нам, может быть, дали затем,
Чтобы мастеру мы и во всем остальном доверяли.

Эта статья, эта мощь, этот низко надвинутый шлем...
Ах, наверное, будет не хуже в конце, чем в начале.

1983

* * *

Все гудел этот шмель, все висел у земли на краю,
Улетать не хотел, рыжеватый, ко мне прицепился,
Как полковник на пляже, всю жизнь рассказавший свою
За двенадцать минут; впрочем, я бы и в три уложился.

Немигающий зной и волны жутковатый оскал.
При безветрии полном такие прыжки и накаты!
Он в писательский дом по горячей путевке попал
И скучал в нем, и шмель к простыне прилипал полосатой

О Москве. О жене. Почему-то еще Иссык-Куль
Раза три вспоминал, как бинокль потерял на турбазе.
Захоти о себе рассказать я, не знаю, смогу ль,
Никогда не умел, закруглялся на первой же фразе.

Ну, лети, и пыльцы на руке моей, кажется, нет.
Одиночество в райских приморских краях нестерпимо.
Два-три горьких признанья да несколько точных замет —
Вот и все, да струя голубого табачного дыма.

Биография, что это? Яркого моря лоскут?
Заблудившийся шмель? Или памяти старой запасы?
Что сказать мне ему? Потерпи, не печалься, вернут,
Пыль стерев рукавом, твой военный бинокль синеглазый.

1984

* * *

Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить!
Вот радость — весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Против эту тьму, эту яму волшебную, волчью!

До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться

В заставленной комнате с креслом и круглым столом.
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться

Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!
Могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться
С заветного счета. О, радость, ты здесь, ты жива.
О, нацеловаться! А главное, наговориться!

За тысячи лет золотого молчания, за весь
Дожизненный опыт, пока нас держали во мраке.
Цветочки на скатерти — вот что мне нравится здесь.
О Тютчевской неге. О дивной полуденной влаге.

О вилле, ты помнишь, как двое порог перешли
В стихах его римских, спугнув вековую истому?
О стуже. О корке заснеженной бедной земли,
Которую любим, ревнуя к небесному дому.

1984

* * *

Гудок пароходный — вот бас; никакому певцу
Не снилась такая глубокая, низкая нота;
Ночной мотылек, обезумев, скользнет по лицу,
Как будто коснется слепое и древнее что-то.

Как будто все меры, которые против судьбы
Предприняты будут, ее торжество усугубят.
Огни ходовые и рев пароходной трубы.
Мы выйдем — нас встретят, введут во дворец и полюбят.

Сверните с тропы, обойдите, не трогайте нас!
Гудок пароходный берет эту жизнь на поруки.
Как бы в три погибели, грузный зажав контрабас,
Откуда-то снизу, с трудом, достают эти звуки.

На ощупь, во мраке... Густому, как горе, гудку
Ответом — волнение и крупная дрожь мировая.
Так пишут стихи, по словцу, по шажку, по глотку,
С глазами закрытыми, тычась и дрожь унимая.

Как будто все чудища древнего мира рычат,
Все эти драконы, грифоны, быки, минотавры...

Дремучая жизнь и волшебный, внимательный взгляд,
И, может быть, даже посмертные бедные лавры.

1984

* * *

В любительском стихотворенье огрехи страшней, чем грехи.
А хор за стеной в помещенье поет, заглушая стихи,
И то ли стихи не без фальши иль в хоре, фальшивя, поют,
Но как-то все дальше и дальше от мельниц, колес и запруд.

Что музыке жалкое слово, она и без слов хороша!
Хозяина жаль дорогого, что, бедный, живет не спеша,
Меж тем как движенье, движенье прописано нам от тоски.
Все благо: и жалкое пенье, и рифм неумелых тиски.

За что нам везенье такое, вертлявых плотвичек не счесть?
Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть!
Как будто по илу ступаю в сплетенье придонной травы.
Сказал бы я честно: не знаю, — да мне доверяют, увы.

Уж как там, не знаю, колеса немецкую речку рыхлят,
Но топчет бумагу без спроса стихов ковыляющий ряд, —
Любительское сочиненье при Доме ученых в Лесном,
И Шуберта громкое пенье в соседнем кружке хоровом.

1984

* * *

Мне не важно, какой сегодня день,
И какое число, мне безразлично,
Потому что пышная сирень
В переулке цветет так хаотично.

Каждый раз присматриваюсь к ней,
Как к тому, что ждет нас после смерти.
Пригласительный на юбилей
Дорогой билет лежит в конверте.

Первый пункт — торжественная часть.
Пункт второй — концерт: певец и чтица.

Ни одной строке у нас пропасть
Не дано, словцу запропасться.

Как же вечную не любить весну,
Если так цветет земной кустарник?
Клонит к смерти в мае, как ко сну,
И сирень как бы ее посланник.

1985

ВОСПОМИНАНИЯ

Н. В. была смешливою моей
подругой гимназической (в двадцатом
она, эс-эр, погибла), вместе с ней
мы, помню, шли весенним Петроградом

в семнадцатом и встретили К. М.,
бегущего на частные уроки,
он нравился нам взрослостью и тем,
что беден был (повешен в Таганроге),

а Надя Ц. ждала нас у ворот
на Ковенском, откуда было близко
до цирка Чинизелли, где в тот год
шли митинги (погибла как троцкистка),

тогда она дружила с Колей У.,
который не политику, а пенье
любил (он в горло ранен был в Крыму,
попал в Париж, погиб в Соппротивленье),

нас Коля вместо митинга зазвал
к себе домой, высокое на диво
окно смотрело прямо на канал,
сестра его (умершая от тифа)

Ахматову читала наизусть,
а Боря К. смешил нас до упаду,
в глазах своих такую пряча грусть,
как будто он предвидел смерть в блокаду,

и до сих пор я помню тот закат,
жемчужный блеск уснувшего квартала,

потом за мной зашел мой старший брат
(расстрелянный в тридцать седьмом), светало...

1979

* * *

Есть два чуда, мой друг:
Это нравственный стержень и звездное небо,
по Канту.

Средь смертей и разлук
Мы проносим в стихи неприметно их, как
контрабанду,
Под шумок, подавляя испуг.

Не обида — вина
Жжет, в сравнении с ней хороша и желанна обида.
Набегает волна,
Крабы, камни, медузы — ее торопливая свита.
На кого так похожа она?

Пролетает, пища,
В небе ласточка, крик ее жалобный память
взъерошит.

Тень беды и плаща
Вижу; снова никак застегнуть его кто-то не может,
Трепеща и застужку ища.

Кто построил шатер
Этот звездный и сердце отчаяньем нам разрывает?
Ночь — не видит никто наш позор.
Говорун и позер
Сам себе ужасается: совесть его умиляет.
Иглокожая дрожь.
Нет прощенья и нет понимания.
Но, расплакавшись, легче уснешь.
Кто нам жалость внушил, тот и вызвездил мрак
мироздания,
Раззолоченный сплошь

1987

* * *

Ты не права — тем хуже для меня.
Чем лучше женщина, тем ссора с ней громадней.
Что удивительно: ни ум, как бы родня
Мужскому, прочному, ни искренность, без задней
Подпольной мысли злой, — ничто не в помощь ей.

Неутолимое страданье
В глазах и логика, тем четче и стройней,
Что вся построена на ложном основанье.

Постройка шаткая возведена тоской
И болью, — высится, бесслезная громада.

Прижмись щекой
К ней, уступи во всем, проси забыть, — так надо.

Лишь поцелуями, нет, собственной вины,
Несуществующей, признанием — добиться
Прощенья можем мы. О, дочери и сыны
Ветхозаветные, сейчас могла б страница
Помочь волшебная, все знающая, — жаль,

Что нет заветной под рукою
Не плачь. Мы справимся. Люблю тебя я. Вдаль
Смотрю. Люблю тебя. С печалью вековой.

1986

* * *

Как писал Катулл, пропадает голос,
Отлетает слух, изменяет зреньё
Рядом с той, чья речь и волшебный образ
Так и этак тешат нас в отдаленье.

Помню, помню томление это, склонность
Видеть все в искаженном, слепящем свете.
Не любовь, Катулл, это, а влюбленность.
Наш поэт даже книгу назвал так: «Сети».

Лет до тридцати пяти повторяем формы
Головастиков-греков и римлян-рыбок.
Помню, помню, из рук получаем корм мы,
Примеряем к себе беглый блеск улыбок.

Ненавидим и любим. Как это больно!
И прекрасных чудовищ в уме рисуем.
О, дожить до любви! Видеть все. Невольно
Слышать все, мешая речь с поцелуем.

«Звон и шум,— писал ты,— в ушах заглохших,
И затмились очи ночью тенью...»
О, дожить до любви! До великих новшеств!
Пищу слуху давать и работу — зрению.

1987

* * *

Поехать железнодорожным, морским и воздушным путем,
Увидеть «Олимпию» в Лувре и «Краснобородку с угрем»,
Потом «Натюрморт» в Авиньоне и в Цюрихе — «Гавань
в Бордо»,
А в Кливленде, в частном собрании, «Пионы» не видел
никто!

Потом оказаться в Нью-Йорке,— истратить ему на билет
Не жаль подотчетную сумму — за черный и розовый цвет,
За даму в костюме эспады и охрой намеченный рот.
Как он обогнал наши взгляды на жизнь и добычу щедрот!

Он где-то на новой странице и чуть ли уже не в Нанси,
Чтоб к девушке розоволицей нежней присмотреться вблизи
Каких-то случайных цветочков, зовут ее Мери Лоран,
А в Лондоне розовой мочкой пленяет она англичан.

Истлела та беличья шубка, но вечно живет полотно.
Что гонит по белому свету? Да так, увлечение одно.
Ведет в галереи причуда, заводит каприз во дворцы.
Достаточно знать, что кому-то доступны такие концы.

Он в ухо художнику дышит, за ним поспевая для нас,
Он жаркую книгу напишет про зорко прищуренный глаз,
Его дорогие скитанья, его золотые права —
Всей жизни его оправданье, и кругом идет голова!

1985

На череп Моцарта, с газетной полосы
На нас смотревшего, мы с ужасом взглянули.
Зачем он выкопан? Глазницы и пазы
Зияют мрачные во сне ли, наяву ли?

Как! В этой башенке, в шкатулке черепной,
В коробке треснувшей с неровными краями
Сверкала музыка с подсветкой неземной,
С восьмыми, яркими, как птичий свист, долями!

Мне человечество не полюбить, печаль,
Как землю жирную, не вытряхнуть из мыслей.
Мне человечности, мне человека жаль!
Чела не выручить, обид не перечислить.

Марш — в яму с известью, в колымский мрак, в мешок,
В лед, «Свадьбу Фигаро» забыв и всю бравладу.
О, приступ скромности, ее сплошной урок!
Всех лучших спрятали по третьему разряду.

Тсс... Где-то музыка играет... Где? В саду.
Где? В ссылке, может быть... Где? В комнате, в трактире,
На плечи детские свои взвалив беду,
И парки венские, и хвойный лес Сибири.

1986

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

Живая изгородь, ветвей переплетенье,
Ползи, клубись,
Как дым, скрывай от глаз волшебное виденье —
Чужую жизнь, цветы, выталкивая ввысь
Побеги новые, мне этот бег на месте
Сумбурный нравится сырой,
Живая изгородь, кто посадил все вместе
Кусты, тот жив хотя бы летнею порой,
Когда вот так шумят вертялые листочки.
О нет, не умер он,
Живая изгородь, я встану на носочки,
Как ты, на цыпочки... туманный, чудный сон!

С каким смущением мы каждый раз заходим
В чужие комнаты, нам мил чужой уют,
Живая изгородь... глядим, глаза отводим,
Быть может, веточку нам ветры в ней пригнут?

И вдруг увидим жизнь чужую:

Ребенка нянчат, гладят пса.

К стене клубящейся я подойду вплотную —
Густая, пенная, сплошная полоса.

И море вспомнится в шторм сильный, семибалльный
Кипит и катится, лохматее руна,

С дремучей живостью печальной,

Живая изгородь, падучая волна.

Мы не купались в нем в те дни, лишь подходили

К нему с волнением в груди...

От зла, от ужаса, от распаленной пыли,

Живая изгородь, от горя защити!

Как будто высажены, выращены строки —

Такой у них надежный вид.

Сны перепутаны, слова неодиноким,

Ночь дышит, колет, на месте не стоит

Сучки и прутьики, цветы, в их бледном зеве

Дрожит холодный пот,

Так в мирном шествии на мраморном рельефе

Бредет какой-нибудь забытый царский род,

Шипы, и ниточки, и клочья паутины...

Мы тоже движемся... мы так же зарастем...

Обиды, радости, морщины.

Живая изгородь, ты видишь: мы живем!

1985

СОДЕРЖАНИЕ

«Вижу, вижу спозаранку...»	3
Два голоса.	3
«Четко вижу двенадцатый век...»	5
«Но и в самом легком дне...»	5
Буквы.	6
«Скатерть, радость, благодать!..»	6
«Эти вечные счета, расчеты, долги...»	7
«Конверт какой-то странный, странный, странный...»	8
«Времена не выбирают...»	9
«Сквозняки по утрам в занавесках и шторах...»	9
«Придешь домой, шурша плащом...»	10
Куст.	11
«Какое чудо, если есть...»	12
«Быть классиком — значит стоять на шкафу...»	12
Сложив крылья.	13
«Сентябрь выметает широкой метлой...»	14
«Как клен и рябина растут у порога...»	15
«Небо ночное распахнуто настезь — и нам...»	15
«Нет лучшей участи, чем в Риме умереть...»	16
«В тридцатиградусный мороз представить света...»	17
«На выбор смерть ему предложена была...»	17
Сон.	18
Флейтист.	19
«И если спишь на чистой простыне...»	19
«На узбекском базаре такая является мысль...»	20
«Как мы в уме своем уверены...»	21
Микеланджело.	21

«Все гудел этот шмель, всё висел у земли на краю...»	22
«Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить...»	22
«Гудок пароходный — вот бас; никакому певцу...»	23
«В любительском стихотворенье огрехи страшней, чем грехи...» .	24
«Мне не важно, какой сегодня день...»	24
Воспоминания.	25
«Есть два чуда, мой друг...»	26
«Ты не права — тем хуже для меня...»	27
«Как писал Катулл, пропадает голос...»	27
«Поехать железнодорожным, морским и воздушным путем...» . .	28
«На череп Моцарта, с газетной полосы...»	29
Живая изгородь.	29

КУШНЕР Александр Семенович

ФЛЕЙТИСТ

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 28.11.89. Подписано к печати 13.02.90. А 00235.
 Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсет-
 ная печать. Усл. печ. л. 1,40. Усл. кр.-отт. 1,58. Уч.-изд. л. 1,42.
 Тираж 150 000 экз. Заказ № 1589. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография име-
 ни В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП,
 Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЧЕРЕЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР**

● Одной из прогрессивных форм обслуживания трудящихся является выплата через учреждения Сберегательного банка СССР заработной платы рабочим и служащим, денежных заработков колхозникам и членам кооперативов.

● Такая форма расчетов имеет большое социально-экономическое значение и тесно сочетает интересы государства с личными интересами трудящихся.

● Заработная плата может перечисляться на Ваш счет по вкладу в любое учреждение Сберегательного банка СССР.

Деньги со вклада выдаются в удобное для Вас время в полной сумме или частями.

Вкладчик может оформить доверенность любому лицу на получение денег, а также завещать свой вклад.

По желанию вкладчика его вклад может быть переведен в учреждение Сберегательного банка любого района страны.

● **Сберегательный банк СССР к Вашим услугам!**